

**К**

ольцов называл свои стихи-размышления думами. Им, можно сказать, не повезло: стихи Кольцова о любви, о природе, о крестьянском труде, написанные в жанре простонародных песен, признают свидетельством мощи и цельности поэтического дара, а стихи о народной вере «плодом усилий ума незрелого, слабого. Нет ли в этом какой-то несообразности или даже ошибки, перечеркнувшей ту истину, что цельный талант целен во всем? Подобные ошибки нужно обязательно исправлять, невзирая на срок давности. На то, что слова «думы далеко не могут равняться в достоинстве с его песнями» сказаны авторитетнейшим критиком и их вслед за ним повторяют почти 175 лет.

Чтобы найти ключ к обстоятельствам, из-за которых ошибка возникла, надо перечитать статью В.Г. Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846), но не саму по себе, а вместе с думами поэта-прасола. И вспомнить историю дружбы двух выходцев из провинции (Воронеж, Чембар), получивших известность в литературном кругу столиц.

В первых письмах Кольцова к Белинскому 03 и 21 марта 1836 года заметна не только бла-

годарности за доброту («мне из-за вас Москва показалась гораздо теплее, нежели была прежде»), но и восторг перед человеком, «который в полных идеях здравого смысла выводит священные истины и отдает их целому миру». Таким, полным возвышенных дум, увидел он тогда молодого сотрудника «Телескопа».

Восходящая звезда изданий Надеждина, Виссарион Белинский готовил к выпуску программную статью о критике как движущейся эстетике: «Критика беспрестанно движется, идет вперед, собирает для науки новые материалы, новые данные. Это есть движущаяся эстетика, которая верна одним началам, но которая ведет вас к ним разными путями и с разных сторон, и в этом-то заключается ее прогресс». Статья называлась «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя». Ее цель была не просто разъяснить свою позицию в важном споре, длившемся к марту-апрелю 1836-го уже почти год, но и сказать самое веское слово в борьбе с журналом «Библиотека для чтения».

На потеху публике редактор «Библиотеки...» О.И. Сенковский затеял довольно скептическую игру. Под псевдонимом Барон Брамбеус он сочинял шутовские обозрения литературы, где действовали гротескные маски вроде восточного визиря Тютюнджю-оглу. Идеолог «Московского наблюдателя» Степан Петрович Шевырев не без иронии спрашивал: что это за «новая Золотая Орда, куда все литераторы наши должны ездить как данники, чтобы снискать милость этого литературного Мамаю, этого Тютюнджю-оглу?» И в статье «О критике вообще и у нас в России» (1835) ответил:

«...мы видим теперь, в каком состоянии она у нас находится. Если бы это состояние не угрожало нам водворением безначалия, безвкусия и совершенного произвола в мире словесности, мы не обратили бы на него внимания; но при таком вредном направлении<...> мне кажется, что всякий литератор обязан подать свой голос и содействовать, по возможности, восстановлению той истинной критики, которую хотят превратить в одно личное мнение и подчинить личному произволу».

Белинский откликнулся на это призывом сделать критику «шагом вперед, открытием нового, расширением пределов знания, или даже совершенным его изменением» и назвал «делом гения» высокую миссию — служить тому, чтобы в читательском мнении «имена, озаренные ореолом гения», поднялись «вровень с самими собою».

Перед целью гениев Виссарион Григорьевич преклонялся и даже робел: «Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговейно и смиряюсь в сознании своего ничтожества...», — признавался он В.П. Боткину после беседы с Лермонтовым в апреле 1840 года. Кольцов тоже был из числа цельных и глубоких натур, которыми руководит нерелективное доверие к Целому. Вопреки беседам, в которых критик излагал увлекавшие его теории и «идеи здравого смысла», быстро выяснилось, что Кольцов учеником и последователем Белинского не станет. Но братская взаимопомощь, духовная и творческая связь между ними была крепка. Семь лет товарищества сопровождалась постоянной перепиской, регулярной присылкой новых стихов.

Составляя посмертное собрание сочинений и предисловие к нему «О жизни и сочинениях Кольцова», Белинский сказал много добрых слов о лирике Алексея Васильевича, а философские стихи назвал слабыми, наивными. Свое мнение о думах он подал непрямо, как бы со стороны: некоторые «осуждали Кольцова за этот род стихотворений» и полагали, что «философское умничанье» не к лицу «полуграмотному прасолу», но поэт мыслил и говорил согласно языку и верованиям русского простого люда. «Люди с книжным, вычитанным умом, с готовыми суждениями о чем угодно, — написал критик, — никогда не поймут, чтобы чело-



Алексей Кольцов

век с вышено натурою, но обделенный образованием, мог на своем странном языке вслух выговаривать то, что глубоко запало в его душу и сильно заняло его ум; никогда не растолкуете вы им, что такой человек и ошибается — то лучше, нежели как они говорят дело, потому что он ошибается по-своему, а они говорят чужое <...> В своих думах Кольцов — русский простолудин, ставший выше своего сословия настолько, чтобы только увидеть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобы овладеть ею и самому совершенно отрешиться от своей прежней сферы. И потому он по необходимости говорит ее понятиями и ее языком об увиденной им вдали сфере других, высших понятий; но потому же он в своих думах искренен и истинен до наивности».

Под «вдали увиденной сферой высших понятий» разумелась философия немецких идеалистов и Гегеля, труды которого Виссариону Григорьевичу начал разъяснять осенью 1837-го

М.Н. Катков и в 1838 году продолжил М.А. Бакунин. «Перед этим еще Катков передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов «Эстетики». — Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!.. Слово «действительность» сделалось для меня равнозначительно слову «Бог», — сообщал Белинский в письме Николаю Станкевичу осенью 1839 года.

Попытки посвятить в гегельянство воронежского поэта оказались не столь успешными. «Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, — впрочем, о нем надо говорить долго <...> хорошо тогда понимать, когда сам можешь передать; без этого понятия не понятия», — писал Кольцов Белинскому 28 октября 1838 года. Или чуть ранее, 15 июня: «Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного игранья жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях, — и меня ничего на свете так не успокаивает в жизни, как вполне понимание этих истин».

В «Думе двенадцатой» (1840) проекция взгляда на мироздание построена от уровня субъекта («Не может быть, чтобы мои идеи / Влиянья не имели на природу») до высшей объективности всеединства: «Небесный свет перерождает воздух, / Организует и живит элементы / И движет всем — по произволу духа». Фаворский свет преображает и живит все — личное, народное, вселенское: «Волнение страстей, волнение ума, / Волненье чувств в народе — / Все той же проявленье мысли».

Поэт рисовал великую игру природы в полном согласии с верой во Всевышнего. «Человеческая мудрость» (1837), как и пушкинские «Подражания Корану» («С тобою древле, о Всесильный...»), показывает, что даже самый могущественный человеческий ум не в силах изменить вращение земного шара.

Что ты значишь в этом мире,  
Дух премудрый человека?  
Как ты можешь кликнуть солнцу:  
«Слушай, солнце! Стань, ни с места!  
Чтоб ты в небе не ходило!  
Чтоб на землю не светило!»

Выдь на берег, глянь на море —  
Что ты можешь сделать морю,  
Чтоб вода в нем охладела,  
Чтобы камнем затвердела?  
Чем, какую тайной силой  
Шар вселенной остановишь,  
Чтоб не шел он, не кружился?..  
Перестрой же всю природу!  
Мир прекрасен... Ты не хочешь...  
Нет, премудрый, ты не можешь!  
Да не можешь, раб пространства,  
Лет и времени невольник.  
Будь ты бездна сил, идей,  
Сам собой наполни небо,  
Будь ты все, один и всюду,  
Будь ты бог — и слово — дело!..  
Но когда уж это все,  
Бесконечно и одно,  
Есть пред нами в ризе света, —  
То другой уж власти нет...  
Все, что есть, — все это Божье;  
И премудрость наша — Божья.

Добавим к этим страницам философской поэзии Кольцова еще одну, в которой о круговороте природы говорится как о нескончаемом эхе веков и утешительном таинстве — неизменном в прошлом и будущем: «Что же совершится / В будущем с природой?.. / О, гори, лампада, / Ярче пред распятым! / Тяжелы мне думы, / Сладостна молитва!» («Великая тайна», 1833). Молитва умиротворяет тревоги ума и сердца человеческого. Слово *тайна* тут равнозначно понятиям *Благодать*, *гармония*. У Кольцова многие стихотворения — не просто философская медитация, а молитвенное предстояние Богу за всех мучимых тревогами мысли. Прикосновение к красоте мироздания перенастраивает внутренний камертон личности: усиливается наша чуткость к многовековому пульсу живого Бытия и это защищает от субъективных вибраций — разрушительной дрожи ума.

У каждого века  
Вечность вопрошает:  
«Чем кончилось дело?» —  
«Вопроси друга», —  
Каждый отвечает.  
Смелый ум с мольбою  
Мчится к провиденью.  
Ты поведай мыслям  
Тайну сих созданий!  
Шлют ответ, вновь тайный,  
Чудеса природы,  
Тишиной и бурей  
Мысли изумляя...

Сознательно или невольно повторил это Белинский, перефразировав эти строки Кольцова в своих словах о неисчерпаемости Пушкина? В статье «Русская литература в 1841 г.» (январский выпуск «Отечественных записок» за 1842 год) читаем: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего...».

Такие примеры подтверждают гибкость натуры критика, тонкое чутье на истинно гениальные ходы мысли.

И позволяют говорить о воздействии Кольцова на Белинского, хотя 175 лет утверждали обратное. Поэт «под влиянием критика обращается к философской поэзии, создавая одну за другой свои «думы». Совершается стремительный рост Кольцова, достигает расцвета его поэтический талант. Он уходит далеко вперед в своем духовном развитии...» (журнал «Литература в школе»). «Как верно заметил критик, вопросы, поставленные в этих думках, важнее, значительнее и глубже, чем ответы на них, которые поэт не всегда мог дать» (онлайн-библиотека издательства «Лицей»).

Автор биографии Кольцова в серии ЖЗЛ (1983) Н.Н. Скатов тоже по традиции говорит о влиянии Белинского на Кольцова. Вместе с тем, в этой книге детально освещена история знакомства Кольцова с немецкой философией, дан обзор всего, что поэт мог слышать и читать о ней в 1820–1840-е годы. «Нельзя вспомнить ни одного более или менее примечательного деятеля литературно-интеллектуальной жизни из бывших в ту пору в столицах, с кем бы Кольцов в свои последние годы и в те месяцы этих годов, когда он жил в столицах, не общался, не разговаривал, не спорил и не переписывался». Скатов в главе «Воронеж и столицы. Думы» приводит множество имен: братья Станкевичи, Бакунин, Боткин, В. Одоевский, А. Веневитинов, Пушкин, Жуковский, Вяземский, Чаадаев, семья Аксаковых и др. И среди них имя Андрея Сребрянского, с которым Кольцов был знаком с конца 1820-х.

Поговорим о нем и его эссе «Мысли о музыке» (впервые опубликовано в 5-м номере «Московского наблюдателя» за 1838 год), во многом близком к стихам Кольцова. Как сын священника, Андрей Сребрянский был определен в Воронежскую духовную семинарию. Однако интерес к философским книгам и сочинительству привел юношу на словесное отделение Московского университета. Далее были Московская и Петербургская медико-хирургическая академия, но недоучившийся студент летом 1838 года в последней стадии чахотки был перевезен в Козловку, где вскоре умер. Алексей Васильевич Кольцов до последних дней заботился об этом талантливом человеке.

Эссе «Мысли о музыке» издатели перепечатали — приобщили к первому посмертному собранию сочинений поэта-прасола (1846) единственный текст, оставшийся от его друга и наставника. В лирике Кольцова главная для этого эссе тема музыкальной гармонии и вечной красоты мира дается не абстрактно, а в переплетении со светлым гимном земной любви («Мир музыки», 1838). Философские стихи Кольцова тоже схожи с эссе Сребрянского — мелодичны по звуко-ритмической ткани. Можно убедиться, что текст «Мыслей о музыке» звучит как музыка, если проговаривать его вслух. «Душе, приласканной звуками, снятся все сладчайшие сны действительного и возможного, снится вся драма жизни в ее идеале. Безмолвные краски, создания резца, океан вод, океан человечества, все — от текущих по своим путям светил неба до полевой травы, — все это музыка, все ее осуществленное слово <...> жизнь мира вечно переменчива и глубок смысл ее; нескончаем труд гениев уловлять этот смысл...». Думы Кольцова тоже надо не только читать глазами, но произносить и воспринимать на слух. Впитывая гармонические волны, мы через равномерно льющащиеся строки внимаем тому, что превышает слов. Поступательное движение медитативного строя поднимает нас по ступеням мироздания до головокружительных высот. В этом духовная поэзия Кольцова прямая наследница од Ломоносова, Державина.

И еще один важный момент. Ведущее понятие эссе «Мысли о музыке» *гармония* Кольцов выражал словом *тайна*. Помимо звучания, мир полон понимающей тишины. Это живая мембрана объемлющей нас ткани Бытия. Таков смысл дум «Великая тайна» (1833) и «Поэт» (1840).

В душе человека  
 Возникают мысли,  
 Как в дали туманной  
 Небесные звезды...  
 Мир есть тайна Бога,  
 Бог есть тайна жизни;  
 Целая природа —  
 В душе человека.  
 Проникнуты чувством,  
 Согреты любовью,  
 Из нее все силы  
 В образах выходят...  
 Властелин-художник  
 Создает картину —  
 Великую драму,  
 Историю царства.  
 В них дух вечной жизни,  
 Сам себя созавши,  
 В видах бесконечных  
 Себя проявляет.

В рукописи это стихотворение называлось «дума «Шекспир», но публикаторы озаглавили «Поэт» (текст впервые опубликован в собрании сочинений 1846 года). У Кольцова была дума с названием «Умолкший поэт» (1836), примечательная еще и тем, что слово *равнодушно* обозначает в ней не безразличие, а мудрое спокойствие прорезвшей души.

«Глядит равнодушно / Безмолвный поэт... / Ты думаешь: пал он?.. / Нет, ты не заметил / Высокую думу, / Огонь благодатный / Во взоре его...»

«Хвалу и клевету приемли равнодушно»...

Смерть великого Пушкина, уход даровитого, но никому не известного Андрея Сребрянского заставили Кольцова без иллюзий взглянуть на собственную жизненную трагедию. В написанной 15 октября 1838 года думе «Последняя борьба» он выразил готовность нести свой крест.

Что погибель! что спасенье!  
 Будь что будет — все равно!  
 На святое провиденье  
 Положился я давно!  
 В этой вере нет сомненья,  
 Ею жизнь моя полна!  
 Бесконечно в ней стремленье!..  
 В ней покой и тишина...  
 .....  
 У меня в душе есть сила,  
 У меня есть в сердце кровь,  
 Под крестом — моя могила;  
 На кресте — моя любовь!

И послал эти строки в Москву Белинскому, чтобы ободрить приятеля, измотанного безденежьем и безуспешной борьбой за тираж журнала, которым тот с осени 1838 года руководил. Мы говорим о «Московском наблюдателе». Белинский взялся его реанимировать по просьбе владельца типографии. За 15 месяцев критик опубликовал около 130 статей, рецензий, заметок и даже пьесу собственного сочинения, но издание все-таки рухнуло.

Еще до этого неудачного эксперимента Кольцов подсказывал, что можно сменить одну столицу на другую, и при поездках в Петербург старался замолвить словечко за



**Валентина Сумина.** Памятная медаль «Косарь» Алексея Кольцова. *Керамика. 2009*

Белинского перед Николаем Алексеевичем Полевым, перед Андреем Александровичем Краевским, у которого сам давно печатался. Поддержка со стороны ведущих литературных сил была делом немалым, а талант поэта-самородка высоко ценили Пушкин, Жуковский... Делясь своей духовной и жизненной стойкостью, Кольцов помог другу не впасть в отчаяние. Белинский сделался сотрудником «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» (с 1840 года издание переименовано в «Литературную газету») и «Отечественных записок». Московский период завершился без видимых потерь. Но предстоял второй, петербургский акт душевной драмы: обстоятельства вынуждали критика порвать с идеализмом. Он окончательно решился на это весной 1846 года.

Однако возвратимся в Москву, к началу карьеры Белинского. «Телескоп», где он тогда работал, был задуман Н.И. Надеждиным как «журнал современного просвещения». Через два года после закрытия «Телескопа» неистовый Виссарион, уже во главе «Московского наблюдателя» (1838–1839), попытался создать «журнал с направлением» в опоре на гегелевскую эстетику. Хотя в учебниках по истории журналистики пишут, что идеалистические иллюзии были отброшены Белинским с переездом в Петербург, схема «в Москве идеалист, в Петербурге — позитивист» не соответствует настроениям, с которыми Виссарион Григорьевич пришел в «Отечественные записки». Не забудем, что его приняли по рекомендации Кольцова и что журнал активно печатал произведения Лермонтова. В этот момент Белинский как никогда тесно связывал задачи своего дела с необходимостью придать критике универсально значимую роль в трактовке величайших художественных дарований. «Будет поэт с Ивана Великого», — восторгался он Лермонтовым после встречи в ордонанс-гаузе 16 марта 1840 года.

Содержание их беседы известно по ряду источников, в том числе по мемуарам А.А. Краевского, который тогда и привез Белинского к арестованному за ссору с Барантом поэту. Белинский говорил, что задача искусства преодолевать дисгармонию, а задача критики — бороться за «возвращение в мужественную сознательную гармонию», и в письме Воткину отметил цельность природы Лермонтова: «Счастье наше, что натура Пушкина не поддавалась рефлексии: от того он и великий поэт <...> у Лермонтова столько же сродства с рефлексией <...> есть надежда, что будет поэт!».

Лермонтов погиб на дуэли летом 1841 года, Кольцова осенью 1842-го сгубила чехотка. Известно, что Белинскому хотелось представить автора «Героя нашего времени» иным, чем Пушкин, в рецензиях он коротко упоминал о своей концепции: «Пушкин лелеял всякое чувство, и ему любо было в теплой стороне предания <...> поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание». Отказ от Целого в такой трактовке очевиден. Свое обещание дать полную картину личности нового гиганта отечественной литературы критик так и не выполнил: о целостном художественном мире затруднительно судить с позиций ума нецелостного.

Весна 1846-го прошла под знаком неизбежного разрыва с журналом Краевского. Белинский готовил к публикации книгу стихов и писем умершего в 1842 году друга. Открывавший ее очерк личности поэта-самородка «О жизни и сочинениях Кольцова» замышлялось сделать исчерпывающе полным, но расставание с идеализмом не дало и этот замысел осуществить.

Идеализм остался в невозвратном прошлом, там, где у ведущего критика «Отечественных записок» были две главные надежды — Лермонтов и Кольцов. Без этих первоклассных авторов остро чувствовалась нехватка качественной прозы и поэзии, но положение самого читаемого в России журнала обязывало иметь и высокого качества критику. А Белинский пережил потерю почвы под ногами: критический раздел не мельчает, не теряет свой уровень только при возможности следить за развитием поистине гениальных дарований. Без гениальной литературы нет предмета для качественной критики.

В 1846 году Панаев и Некрасов, уводя за собой группу одаренных молодых талантов, звали Белинского стать участником своего нового издательского проекта...

В потоке меняющихся событий срабатывал ориентир не на целое, а на череду мелких вынужденных подвижек. Провозглашенный самим же им, Белинским, постулат о критике как движущейся эстетике требовал зачеркнуть тысячи страниц, с жаром написанных для «Телескопа» и «Молвы», «Московского наблюдателя», потом для изданий Краевского... Глядя на путь своих поисков и потерь, Виссарион Григорьевич видел, как вода уносит их отражения. Мода на идеализм схлынула вместе с тридцатыми годами, новые установки на «натуральность» требовали изучать «физиологию общества». Перо выводило слова о *вдали увиденной сфере высших понятий*, а за строками стояли семь лет дружбы с Кольцовым, в которой оба искренне делились всем... Крепкое сердечное единение на почве идеализма и душевных потребностей, то что делает людей братьями, — как объяснять все это без отвлеченных идей о «всем прекрасном и высоком»? Но время требовало, толкало перешагнуть порог.

Не то чтобы он отрекся от истин, поэтически воплощенных его другом... Просто ушел от разговора. Назвал Кольцова мыслителем-самоучкой, не имевшим сил разобраться в философских теориях без опытного наставника на умственном пути. Так в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» запечатлелось изменение, характеризующее путь критика, а не суть творчества и философских воззрений поэта. Не будем строго судить автора этой статьи. После разрыва, уже в кругу молодых авторов «Современника», Виссарион Григорьевич стал постепенно обретать новые надежды, воспрянул как проводник и собиратель лучших литературных сил. Он писал «О жизни и сочинениях Кольцова» не чернилами, а болью души. Строки этой статьи не выцветают, не блекнут с годами. В ряду других, написанных Чернышевским, Майковым, Салтыковым-Щедриным, именно текст Белинского до наших дней остался лучшим литературным памятником Алексею Васильевичу Кольцову.

В очерке трагической судьбы воронежского друга Белинский-человек виден весь. Кольцов виден весь в своих думах. Духовная поэзия Алексея Васильевича Кольцова, как любящее сердце, открыта читателям, всем тем, кто понял *тайну* этого сердца, почувствовал ее сродство и лад с преданиями родной земли, с великим звучанием гармонии Высших Начал мироздания.

